

УДК 821.111-3
ББК 84(4Вел)-44
К66

Серия «Зарубежная классика»

Marie Corelli
THE SORROWS OF SATAN

Перевод с английского *Е. Кохно*

Компьютерный дизайн *Г. Смирновой*

Корелли, Мария.

К66 Скорбь Сатаны : [роман] / Мария Корелли ; [пер. с англ. Е. Кохно]. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 480 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-113019-0

Молодой писатель Джеффри Темпест, прозябающий в нищете и безвестности, продает душу Сатане и получает от Князя Тьмы все, о чем только мечтал... точнее, почти все.

Теперь светское общество, ранее им пренебрегавшее, лежит у его ног. К его услугам несметное состояние, любовь прекрасной девушки, роскошь и удовольствия.

Но много ли это значит, если утрачено главное, ради чего Джеффри жил, — его талант?..

**УДК 821.111-3
ББК 84(4Вел)-44**

I

Знаете ли вы, что значит быть бедным? Быть бедным не той бедностью, на которую некоторые люди жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным — ужасно, отвратительно бедным? Бедность, которая так гнусна, унизительна и тягостна, — бедность, которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости; которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку; которая лишает вас самоуважения и побуждает вас в замешательстве скрываться на задних улицах вместо того, чтобы свободно и независимо гулять между людьми. Вот такую бедность я разумею. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который глохнет сердце благонамеренного человеческого существа и делает его завистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжиревшую праздную женщину из общества, проезжающую в роскошной коляске, лениво развалившись на подушках, с лицом, раскрасневшимся от пресыщения; когда он замечает безмозглого и чувственного модника, курящего и зевающего от безделья в парке, как если б весь свет с миллионами честных тружеников был создан исключительно для развлечения так называемых «высших классов», — тогда его кровь превращается в желчь и страдающая душа возмущается и вопиет:

— Зачем такая несправедливость во имя Божие? Зачем недостойный ротозей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству, когда я, работая без усталы с утра до ночи, едва в состоянии иметь обед?

Зачем, в самом деле? Отчего бы сорной траве не цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но... на каком опыте! Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем это правда — более правдивая, чем многое, называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях, под точно таким же давлением, сознавая, может быть, временами, что они опутаны пороком, но они слишком слабы волей, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь: примут ли они во внимание данный мне урок? В той же суровой школе, тем же грозным учителем? Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который не переставая, хотя и безгласно, работает? Познают ли они Вечного действительного Бога, как я принужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут для них ясными и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым!

Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство; я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие находятся в подобном положении. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни — по порядку, как они происходили, — предоставляя более самонадеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования.

Во время одной жестокой зимы, памятной ее популярной суровостью, когда громадная холодная волна распространила свою леденящую силу не только на счастливые Британские острова, но и на всю Европу, я, Джеффри Темпест, был один в Лондоне, почти умирая с голоду. Теперь голодающий человек редко возбуждает симпатию, какую он заслуживает, так как немногие поверят ему. Состоятельные люди, только что поевшие до пресыщения, — самые недоверчивые; многие из них даже улыбаются, когда им расскажут про голодных бедняков, точно это была выдуманная шутка для послеобеденного развлечения. Или с раздражающе важным вниманием, характеризующим аристократов, которые, задав вопрос, не ждут ответа или не понимают его, хорошо пообедавшие, услышав о каком-нибудь несчастном, умирающем от голода, рассеянно пробормочут: «Как ужасно!» — и сейчас же возвратятся к обсуждению последней новости, чтоб убить время, прежде чем оно убьет их настоящей скукой. «Быть голодным» звучит грубо и вульгарно для высшего общества, которое всегда ест больше, чем следует.

В тот период, о котором я говорю, я, сделавшийся с тех пор одним из людей, наиболее вызывающих зависть, — я узнал жестокое значение слова «голод» слишком хорошо: грызущая боль, болезненная слабость, мертвенное оцепенение, ненасытность животного, молящего о пище, — все эти ощущения достаточно страшны для тех, кто, по несчастию, день ото дня подготавливался к ним, но, может быть, они много более для того, кто получил нежное воспитание и считал себя «джентльменом». И я чувствовал, что не заслуживаю страданий нищеты, в которой я очутился. Я усидчиво работал. После смерти моего отца, когда я открыл, что каждое пенни из его воображаемого состояния принадлежало кредиторам и что из нашего дома и имения мне ничего не осталось, кроме драгоценной миниатюры моей матери, потерявшей жизнь,

произведя меня на свет, — с того времени, говорю я, мне пришлось трудиться с раннего утра до поздней ночи. Мое университетское образование я применил к литературе, к которой, как мне казалось, я имел призвание. Я искал себе занятий почти в каждой лондонской газете. Во многих редакциях мне отказали, в некоторых брали на испытание, но нигде не обещали постоянной работы.

Кто бы ни искал заработка одной головой и пером, в начале этой карьеры с ним будут обращаться как с парией общества. Никому он не нужен, все презирают его. Его стремления осмеяны, его рукописи возвращаются ему непрочитанными, и о нем меньше заботятся, чем об осужденном убийце в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен, почтенный священник навещает его, а его тюремщик иногда не прочь даже сыграть с ним в карты. Но человек, одаренный оригинальными мыслями и способный выражать их, считается худшим из преступников, и его, если б могли, затолкали бы до смерти.

Я переносил в угрюмом молчании и пытки, и удары, и продолжал жить — не из любви к жизни, но единственно потому, что презирал трусость самоуничтожения. Я был еще слишком молод, чтоб легко расстаться с надеждой. У меня была смутная идея, что и мой черед настанет, что вечно вращающееся колесо фортуны в один прекрасный день поднимет меня, как теперь понижает, оставляя мне лишь возможность для продолжения существования, — это было прозябание, и больше ничего. Наконец я получил работу в одном хорошо известном литературном издании. Тридцать романов в неделю присылались мне для критики. Я приобрел привычку рассеянно пробегать восемь или десять из них и писал столбец громовых ругательств, интересуясь только этими, так случайно выбранными; остальные же оставались без внимания. Такой образ действий оказался удачным, и я поступал так некото-

рое время, чтобы понравиться моему редактору, который платил мне щедрый гонорар в пятнадцать шиллингов за мой еженедельный труд.

Но однажды, вняв голосу совести, я изменил тактику и горячо похвалил работу, которая была и оригинальна, и прекрасна. Автор ее оказался врагом журнала, где я работал. Результатом моей хвалебной рецензии произведения ненавистного субъекта было то, что личная злоба издателя взяла верх над добросовестностью, и я лишился заработка. После этого мне пришлось влечить бедственную жизнь наемного писателя, живя обещаниями, которые никогда не выполняются, пока, как я сказал, в начале января, в разгар лютой зимы, я не очутился буквально без гроша, лицом к лицу с голодной смертью, задолжав месячную плату за свою убогую квартирку, которую я занимал на одной из глухих улиц, недалеко от Британского музея.

Целый день я бродил из одной газетной редакции в другую, ища работу и не находя ее. Все места были заняты. Так же безуспешно пробовал я представить свою рукопись, но «лекторы» в редакциях нашли ее особенно бездарной. Большинство из этих «лекторов», как я узнал, были сами романисты, которые в свободное время прочитывали чужие произведения и произносили свой приговор. Я никогда не мог найти справедливости в такой системе. Мне кажется, что это — просто-напросто покровительство посредственности и подавление оригинальности. Романист-«лектор», который добивается места в литературе для самого себя, естественно, скорее одобрит заурядную работу, чем ту, которая могла бы оказаться выше его собственной. Хороша или дурна эта система, но для меня и для моего литературного детища она была вредна.

Последний редактор, к которому я обратился, по-видимому, был добрый человек; он смотрел на мое потертое платье и изнуренное лицо с некоторым состраданием.

— Мне очень жаль, — сказал он, — но мои «лекторы» единогласно отвергли вашу работу. Мне кажется, вы слишком серьезны и резко ратуете против общества. Это непрактично. Не следует никогда осуждать общество: оно покупает книги. Вот если можете, напишите остроумную любовную историйку, слегка рискованную: этого рода произведения имеют наибольший успех в наше время.

— Извините меня, — возразил я нерешительно. — Но уверены ли вы, что судите правильно о вкусах публики?

— Конечно, я уверен, — ответил он. — Моя обязанность — знать вкус публики так же основательно, как свой собственный карман. Поймите меня, я не советую, чтобы вы писали книгу положительно непристойного содержания, — это можно смело оставить для «Новой женщины». — Он засмеялся. — Уверю вас, что классические произведения не имеют сбыта. Начать с того, что критики не любят их. То, что доступно им и публике, — это отрывок сенсационного реализма, рассказанный в элегантной английской газете. В «Литературной» или в газете Эддисона это будет ошибкой.

— Я думаю, что и я сам — тоже ошибка, — сказал я с натянутой улыбкой. — Во всяком случае, если то, что вы говорите, правда, я должен бросить перо и испробовать другое занятие. Я устарел, считая литературу выше всех профессий, и я скорее бы предпочел не связывать ее с теми, кто добровольно унижает ее.

Он бросил на меня искоса быстрый взгляд — полунедоверчивый, полупрезрительный.

— Хорошо, хорошо! — наконец заметил он. — Вы немного экстравагантны. Это пройдет. Не хотите ли пойти со мной в клуб и вместе пообедать?

Я отказался от этого приглашения. Я сознавал свое несчастное положение, и гордость — ложная гордость, если хотите, — поднялась во мне. Я поспешил про-

ститься и поплелся домой со своей отвергнутой рукописью. Придя домой, я встретил на лестнице мою квартиру хозяйку, которая спросила, «не буду ли я так добр свести с ней завтра счета». Она говорила довольно вежливо, бедная душа, и не без некоторой нерешительности. Ее очевидное сострадание укололо мое самолюбие так же, как предложенный редактором обед ранил мою гордость, и с совершенно уверенным видом я сейчас же обещал ей уплатить деньги в срок, ею самую назначенный, хотя у меня не было ни малейшего представления, где и как я достану требуемую сумму.

Войдя в свою комнату, я швырнул бесполезную рукопись на пол, бросился на стул... и выругался. Это облегчило меня, и понятно, так как хотя я и ослабел временно от недостатка пищи, но не настолько, чтоб проливать слезы, и сильное грозное ругательство было для меня такого же рода лекарством, каким, я думаю, бывают слезы для взволнованной женщины. Как я не мог плакать, так я не был способен обратиться к Богу в моем отчаянии. Говоря откровенно, я тогда не верил в Бога. Я был самонадеянным смертным, презирающим изношенные временем суеверия.

Конечно, я был воспитан в христианской вере, но эта вера сделалась для меня более чем бесполезной. Умственно — я находился в хаосе. Морально — мне мешали идеи и стремления. Мое положение было безнадежно, и я сам был безнадежен.

А между тем я чувствовал, что сделал все, что мог. Я был прижат в угол моими братьями, которые оспаривали мое место в жизни. Но я боролся против этого: я работал честно и терпеливо; и все напрасно.

Я слышал о мошенниках, которые получали большие деньги; о плутах, которые наживали огромные состояния. Их благоденствие доказывает, что честность в конце концов не есть лучшая система.

Что же было делать? Как начать иезуитскую деятельность, чтобы, сделав зло, получить добро? Так

я думал — если эти безумные фантазии заслуживали названия дум. Ночь была особенно холодная. Мои руки онемели, и я старался согреть их у масляной лампы, которую моя квартирная хозяйка, по доброте своей, позволяла мне пользоваться, несмотря на отсроченный платеж.

Сделав это, я заметил три письма на столе: одно в длинном синем конверте, заключающее или вызов в суд, или возвращенную рукопись, другое — с маркой из Мельбурна, а третье — толстый квадратный пакет с золоченой коронкой. Я смотрел на все три равнодушно и, выбрав то, что было из Австралии, вертел в руках одну секунду, прежде чем распечатать его.

Я знал, от кого оно, и не ждал приятных известий. Несколько месяцев тому я написал подробный рассказ о моих увеличивающихся долгах и затруднениях одному старому школьному товарищу, который, найдя Англию слишком тесной для своего честолюбия, уехал в более широкий Новый Свет для разработки золотых приисков. Как мне было известно, он преуспел в своем предприятии и достиг солидного независимого положения. Поэтому я рискнул обратиться к нему с просьбой одолжить мне пятьдесят фунтов стерлингов. Здесь, без сомнения, был его ответ, и я колебался, прежде чем вскрыть конверт.

— Конечно, будет отказ, — сказал я почти громко.

Как ни был расположен приятель при других обстоятельствах, но при просьбе одолжить денег он непременно окажется черствым. Он выразит свои сожаления, обвинит профессию и вообще плохие времена и обнадежит, что все скоро перемелется. Мне это было хорошо известно. В конце концов, почему я должен думать, что он не такой, как все? Я не имею на него иных прав, кроме воспоминаний о нескольких сентиментальных днях в Оксфорде.

Против воли у меня вырвался вздох, и на секунду глаза заволоклись туманом. Опять я видел серые

башни мирной Магдалины, чудесные зеленые деревья, покрывавшие тенью дорожки внутри и кругом старого дорогого университетского города, где мы — я и человек, чье письмо я сейчас держал в руке, — вместе бродили, счастливые юноши, воображая себя молодыми гениями, родившимися, чтобы преобразовать мир. Мы оба любили классиков — мы были полны Гомером и мыслями и принципами всех бессмертных греков и римлян. И я верю, что в те далекие мечтательные дни мы думали, что в нас было то вещество, из которого создаются герои. Но вступление на общественную арену скоро разрушило наши высокие фантазии; мы оказались обыкновенными рабочими единицами, не более; проза ежедневной жизни отстранила Гомера на задний план, и мы вскоре открыли, что общество более интересовалось последним скандалом, чем трагедиями Софокла или мудростью Платона. Без сомнения, было крайне глупо мечтать, что мы могли преобразовать свет, тем не менее самый закоренелый циник вряд ли станет отрицать, что отчаянно оглянуться назад, на дни юности, когда, быть может, только один раз в жизни он имел благородные стремления. Лампа горела скверно, и мне пришлось заправить ее, прежде чем приступить к чтению письма моего друга.

В следующей комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Нежные звуки лились из-под смычка, и я слушал, безотчетно радуясь. Ослабев от голода, я впал в какое-то состояние, доходившее до оцепенения, и проникающая мелодия, вызывая во мне эстетичные и сладостные чувства, укротила на мгновение ненасытное животное, требующее пищи.

— Играй, играй! — пробормотал я, обращаясь к невидимому музыканту. — Ты упражняешься на своей скрипке, без сомнения, для заработка, поддерживающего твое существование. Возможно, что ты какой-нибудь бедняга в дешевом оркестре или, может

быть, даже уличный музыкант, принужденный жить по соседству с «джентльменом», умирающим от голода; у тебя не может быть надежды когда-нибудь войти в моду и играть при дворе; если же ты надеешься на это, то это безумно! Играй, дружище, играй! Звуки, что ты извлекаешь, очень приятны и заставляют думать, что ты счастлив, хотя я сомневаюсь в этом. Или и у тебя пошло все прахом?

Музыка стихала и становилась жалобнее; ей теперь аккомпанировал шум града по оконным стеклам. Ветер со свистом врвался в дверь и взывал в камине — ветер, холодный, как дыхание смерти, и пронизывающий, как игла. Я дрожал и, нагнувшись к коптящей лампе, приготовился читать.

Едва я разорвал конверт, как оттуда выпал на стол чек на пятьдесят фунтов, которые я мог получить в хорошо известном Лондонском банке. Мое сердце дрогнуло от облегчения и благодарности.

— Я был несправедлив к тебе, старый товарищ! — воскликнул я. — У тебя есть сердце!

И, глубоко тронутый великодушием друга, я внимательно прочел его письмо. Оно было не очень длинно и, очевидно, написано второпях.

Дорогой Джефф!

Мне больно слышать, что ты находишься в затруднительных обстоятельствах; это показывает, что глупые головы еще процветают в Лондоне, если человек с твоими дарованиями не может занять принадлежащего ему места на литературном поприще. Я думаю, что тут весь вопрос в интригах и только деньги могут их остановить. Здесь пятьдесят фунтов, которые ты просил: не спеши возвращать их. Я хочу тебе помочь в этом году, посылая тебе друга — настоящего друга, заметь! Он передаст тебе рекомендательное письмо от меня, и, между нами, старина, ты ничего лучшего не сделаешь, как если доверишь ему всецело твои литератур-

ные дела. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. Кроме того, он большой филантроп и имеет особенную склонность к общению с духовенством.

Странный вкус, ты скажешь, но он мне совершенно откровенно объяснил причину такого предпочтения. Он так чудовищно богат, что буквально не знает, куда девать деньги, а достойные джентльмены церкви всегда охотно указывают ему способы растрчивать их. Он всегда рад узнать о таких кварталах, где его деньги и влияние (он очень влиятелен) могут быть полезны для других. Он помог мне выпутаться из очень серьезного затруднения, и я у него в большом долгу. Я ему все рассказал о тебе и о твоих талантах, и он обещал поднять тебя. Он может сделать все, что захочет; весьма естественно, так как на свете и нравственность, и цивилизация, и все остальное подчиняются могуществу денег, а его касса, кажется, беспредельна. Воспользуйся им — он сам этого желает — и напиши мне, что и как. Не хлопчи относительно пятидесяти фунтов, пока не почувствуешь, что гроза тебя миновала.

Твой всегда,
Босслз.

Я засмеялся, прочитав нелепую подпись, хотя мои глаза были затуманены чем-то вроде слез. «Босслз» было прозвище, данное моему другу некоторыми из наших школьных товарищей, и ни он, ни я не знали, как оно впервые возникло. Но никто, кроме профессоров, не обращался к нему по имени, которое было Джон Кэррингтон; он был просто Босслз, и Босслзом он остался даже теперь для своих душевных друзей. Я сложил и спрятал его письмо вместе с чеком и, размышляя, что за человек мог быть этот «филантроп», который не знает, что делать с деньгами, принял за два других пакета. Я чувствовал с облегчением, что теперь, что бы ни случилось, я могу завтра оплатить счет